

ТАТЬЯНА ПЛЕТНЕВА



ПУНКТ
ТРЕТИЙ

СЕРИЯ
«НЕПРОШЕДШЕЕ
ВРЕМЯ»

Татьяна Плетнева

Пункт третий

Серия «Непрошедшее время»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51614563

Татьяна Плетнева. Пункт третий : роман: «Время»; Москва; 2020

ISBN 978-5-9691-1966-6

Аннотация

1982 год. Сотрудники КГБ во время обыска конфискуют роман Александры Юрьевны Полежаевой, в котором рассказывается история диссидента Рылевского, отбывшего срок за размножение и распространение запрещенного тогда «Архипелага ГУЛАГ». В одном из персонажей романа читающий его майор КГБ узнает самого себя; его пугает, что ему отведена роль двойного агента и что не только он один может увидеть свое сходство с героем романа Первушиным. Чтобы отвести от себя возможные подозрения, ему необходимо уничтожить роман раньше, чем его прочтет кто-либо из коллег. В ходе обыска найден документ, позволяющий арестовать Александру Юрьевну, Рылевского и их друзей. Отправив своих подчиненных конвоировать арестованных, майор сжигает роман. Роман, который мы читаем вместе с майором КГБ Первушиным, состоит из пяти глав, каждая из которых соответствует одному дню. Истории персонажей – от диссидентов до гэбистов и сотрудников лагеря – переплетаются.

Александра Юрьевна старается в каждом увидеть человека и понять его позицию. География романа – Москва, Ленинград и лагерь на Урале; хронология – 1979–1981. Роман воссоздает атмосферу советской жизни этого периода – от диссидентской кухни до лагерного барака.

Содержание

Виктор Шендерович. Хроника нетекущих событий	6
Глава 1	11
19 декабря 1979 года	11
Утро	11
День	21
Сиеста	39
Вечер	47
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Татьяна Плетнева

Пункт третий

Художественное электронное издание

Издательство благодарит Фонд А. И. Солженицына за помощь в издании этой книги

Художественное оформление ВАЛЕРИЙ КАЛНЫНЬШ
В оформлении переплета использован рисунок МАРИИ ВОЛОХОНСКОЙ

© Т. И. Плетнева, 2020

© В. А. Шендерович, сопроводит. статья, 2020

© «Время», 2020

* * *

...И, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь...

Мф: 24,12

Виктор Шендерович.

Хроника нетекущих событий

Случаются в жизни длинные сюжеты.

Почти сорок лет назад, в начале восьмидесятых, неприка-
янный юноша, заметно поврежденный службой в ЗабВО им.
Ленина, я, как большая собака в угол, любил забиться в
подмосковный поселок Востряково, на дачу к моему другу
Юре Льву. Там был свежий воздух и ночлег на чердаке, был
мангал – и были люди...

А дача-то была не Юркина, а его тестя – профессорская
была дача!

Профессора звали Давид Гольдфарб, и был он знаме-
нитый генетик и не менее знаменитый отказник¹. Публика
в Востряково собиралась соответствующая...

Там-то я и увидел вблизи диссидентов.

Наступали андроповские времена. Кто-то из гостивших
на даче только вышел на свободу, кто-то шел на посадку –
по христианским делам, за самиздат, за «Хронику текущих
событий». Меня неприятно поразило, какие они все симпа-
тичные люди. Там, на Юркином чердаке, с некоторым запоз-
данием, я проглотил за пару ночей «Архипелаг ГУЛАГ», там

¹ Тем, кому показалось, что они знают эту фамилию, не показалось. Диссидент
Александр Гольдфарб – сын того профессора. – В. III.

читал ардисовского Бродского и что-то «посевное». На даче профессора Гольдфарба я и увидел Таню Плетневу.

Таня была христианкой, и в некотором смысле – первой христианкой. Первой, которую я увидел своими глазами. Она писала стихи о волхвах и звезде, а я не твердо понимал, о чем это вообще (я был вполне советский юноша). Стихи мне не понравились. Работала Таня уборщицей, и это тоже казалось мне странным.

Странным был я сам, совмещавший любовь к Окуджаве с уважением к Ильичу.

А Таня, моя ровесница, выпускница Московского геологоразведочного института, в 1981 году отказалась сдавать госэкзамен по научному коммунизму и, как говорится, вышла вон. К этому времени она участвовала в правозащитном движении, помогала политзаключенным. В 1983 году вышла замуж за осужденного по 70-й статье Льва Волохонского, и брак был зарегистрирован в СИЗО КГБ г. Ленинграда, в том самом проклятом доме на Литейном, где перед расстрелом сидел Гумилев...

С середины восьмидесятых Таня жила на даче профессора Гольдфарба каждое лето. В начале перестройки вышел из лагеря Волохонский (его я тоже помню краешком памяти), потом из «совка» выпустили наконец самого профессора...

Давида Гольдфарба встречал в аэропорту Рональд Рейган. А профессорская дача в Востряково, приют симпатичной диссиды, была теперь обречена на возвращение в руки госу-

дарства рабочих и крестьян...

В последний раз я видел Татьяну Плетневу весной 1990 года – Юра Лев и Оля Гольдфарб уезжали в Америку, и мы прощались с ними, думая, что прощаемся навсегда.

Спустя десять лет, уже совсем в другие времена, Юра переслал мне роман Плетневой «Пункт третий» с просьбой кому-нибудь показать. И я показал, сам, к стыду своему, в диком цейтноте телевизионной жизни, лишь пробежав текст глазами. В модном московском издательстве печатать роман отказались, о чем я с чистой совестью сообщил моему другу.

Прошло еще почти двадцать лет, и Юра снова прислал мне роман – его вторую редакцию, с прежним предложением: показать издателям. И я ахнул, впервые погрузившись в эти страницы. Это оказалась настоящая, подлинная, мощная книга. Тот самый «кусочек горячей дымящейся совести», о котором писал Пастернак...

Вы будете читать этот роман не из уважения к биографии автора. Вас затянет в хронику давно не текущих событий, написанную с таким отчаянием, какое дается только подлинным опытом, и с таким знанием людей, какое дано только большому писателю. Должен предупредить: литературное мастерство Татьяны Плетневой заденет многих профессионалов. Персонажи ее книги – абсолютно живые, и даже самые страшные из них написаны словно изнутри. Редчайший дар писательской эмпатии! Пластичный язык и точность деталей дают сильный эффект присутствия: у читателя «Пункт-

та третьего» есть шанс прожить на всю катушку то, что, по счастью, его миновало...

Этот роман – о давно прошедшем времени, но время в России движется кругами, и, хотя красное знамя сменилось триколором, а Христа тут теперь вколачивают в головы с той же силой, с какой раньше вколачивали Ленина, все это лишь декорация унылого русского ужаса. Никуда не делся капитан Васин, тут как тут и лейтенант Первушин, и шныри, и автозаки... Все это – здешняя константа, похоже, как и безнадежная маргинальность тех, кто ценою своей судьбы готов встать на пути русского молоха. И авторские примечания об обычаях лагерной жизни, разбросанные по страницам романа, смотрятся вдруг памяткой на будущее...

А еще этот роман – о любви, потому что о чем еще может быть роман, как не о любви и не о смерти? А еще – он густо насыщен поэзией, от ахматовской до самиздатской, и это обстоятельство подтолкнуло меня, спустя десятилетия, снова заглянуть в стихи самой Татьяны Плетневой и снова ахнуть.

...Только небо и ветер в ветвях над рекой – хороши,
Да у низких домов, где крест-накрест заклеены стекла,
Будто нынче война – чуть заметно колыхнется жизнь,
Как белье на веревке, что за ночь почти не просохло...

Случаются в жизни длинные сюжеты.

Один из них – о романе Татьяны Плетневой «Пункт третий» и о ней самой, которая приходит сегодня в русскую ли-

температуру с запозданием в двадцать лет.

Ужас, конечно, но, как говорится в том анекдоте, не «ужас-ужас». Если примерить к местным срокам, от Радищева до Замятина, – так это вообще ни о чем. Подумаешь, двадцать лет!

Глава 1

19 декабря 1979 года

Утро

1

Виктор Иванович Васин, капитан и РОР² одной из уральских зон, всю ночь мерз. Накануне от него ушла жена, сбежала, как в кино, с заезжим собаководом.

Не прожив и недели в Четвертинке, собачий инструктор позабыл про собак и прилип к васинской бабе. В клубе были танцы, в кино крутили что-то про любовь, и весь поселок обмирал, следя за их романом. Виктор Иванович тяжело страдал запоями. Последний из них как раз и пришелся на Надькин загул и сильно эту историю продвинул.

Жизнь научила капитана функционировать, не прерывая питания: он появлялся там, где надо и когда надо, но действо-

² РОРом или режимом в просторечии называется заместитель начальника колонии по РОР – режимно-оперативной работе. – *Здесь и далее примеч. автора.*

вал машинально, совершенно не въезжая в происходящее. К концу первой запойной недели равно неинтересны становились ему жена Надька, начальник зоны Ключиков и штабной кот Фофан; со всеми общался он одинаково: безучастно-вежливо.

В штабе привыкли к Васину и во время запоев почти не приставали, старались не заглядывать даже в рорский кабинет, где Виктор Иванович тянул свой рабочий день: дремал, курил и подбавлял потихоньку, по мере надобности.

Поселок Четвертинка представлял собою нечто, расположенное в буквальном смысле вдоль и поперек зоны.

Вдоль длинной стороны зонного четырехугольника стояли в ряд простые деревенские избы, и от внешнего забора зоны, украшенного колючкой и всем, чем положено, их отделяла только разбитая ухабистая грунтовка. На углу зоны грунтовку пересекало шоссе; по одну сторону его тянулся все тот же забор с колючкой, с другой стороны в беспорядке вихлялись серые двух- и трехэтажки недавней постройки. Строили их из чего-то такого, что летом раскалялось и гадко пахло, зимой же промерзало насквозь. Жить в таком доме можно было только с бабой; холостые умники, употреблявшие камин или электрогрелку, все равно мерзли – по ночам в поселке часто не бывало электричества.

Капитан Васин проснулся по будильнику, без четверти шесть, чумной, похмельный и замерзший. Ночной холод

неожиданно вырезвил его, довел, сука, почти до ясного ума. И этим не вовремя прорезавшимся умом с мерзлой задницей вкупе ощущал Виктор Иванович какую-то невосполнимую потерю, сквозную брешь в своей и без того невеселой капитанской жизни, и очень не хотелось просыпаться окончательно, чтоб ненароком не понять какую.

Заснуть же снова было невозможно по причине холода. За окном ворочалась тьма с метелью, в меру разбавленная зонным заревом, – от васинского дома до забора с колючкой было шагов сто, не больше. Ровно в шесть в зоне прекратились гул, звяканье и крики, умолкла стройка – ночная смена кончилась, и в наступившей тишине поехали вдруг звонки в дверь – длинные, короткие, штук десять подряд. Совершенно больной и несчастный капитан потащился открывать. Пол как палуба уходил из-под ног, гулял вверх-вниз и вправо-влево. В темном закутке перед дверью шторм утих; найти на ощупь дверную задвижку Васин не смог, но зато сразу нашарил выключатель и включил свет. Лучше бы он этого не делал, потому что немедленно обозначилось отсутствие Надькиного шмотья в прихожей: шубы ее не было, сапог, сумки – всего, что, как выяснилось теперь, эту прихожую наполняло. А была на вешалке только его собственная шинель, висела она сиротливо, и пустая вешалка скалилась ему в лицо. А сверху грустно поблескивала его же фуражка. И всё.

Виктор Иванович не успел ни заплакать, ни заматерить-

ся, потому что в дверь опять зазвонили, застучали, завопили тонким, совсем не Надькиным голосом.

Поддерживая левой рукою правую, как при стрельбе, капитан сосредоточился и открыл; из-за двери надвинулась на него большая, в цветастом халате баба, жена его кореша и соседа, старшего лейтенанта Волкова.

Волчиха вплыла в коридор, молча обошла Виктора Ивановича и враз заполнила собою кухню.

– Ты вот что, Вить, – сказала она, когда капитан уже пристраивался к яичнице с чаем, – ты бы побрился, а то, Волк мой говорил, сегодня там у вас с Перми начальник будет.

Приняв водки с рассолом, Виктор Иванович попробовал побриться – не в ванной, а за столом, перед Надькиным зеркалом. Волчиха нависала сбоку, ловко заклеивала порезы клочками мокрой газеты, говорила без умолку, кто и что думает в поселке о Надькином побеге.

Из зеркала на Васина тоскливо глядел тощий, с запухшими глазами серо-зеленый мужичонка.

Волчиха провожала его обстоятельно и даже всплакнула, подавая шинель в коридоре.

– Надька-то, Надька твоя – сука и есть, а ты приходи к нам вечером, я пива возьму, – повторяла она, и Васин вдруг подумал, что эта вот толстая своего Волка нипочем не бросит, и сам чуть не расплакался от тоски и обиды.

На воздухе стало легче, качка и тошнота прошли, сработали, видно, и чай, и рассол, и Волчихин завтрак.

Небо расчищалось, перло в мороз, но звезды заглушены были светом прожекторов, как всегда.

Ровно в семь капитан Васин миновал вахту и приступил к работе.

2

– Поднямайсь, поднямайсь, в пязду!.. Ня то счас Поднямайло придет, е...й в рот!.. – орал заспанный шнырь³, стоя посреди секции⁴.

«Напрасно господин Миттеран делает такие опрометчивые заявления», – спокойно отвечало ему радио из коридора.

Игорь Львович Рылевский открыл глаза и с ходу высказал искренние, но однообразные пожелания шнырю Колыме и господину Миттерану.

Печка погасла ночью, барак выстыл; зэки долеживали в условном тепле последние минуты перед началом дня.

Прошагала под шконкой барачная мышь, звеня коготками по холодному крашеному полу, и Игорь Львович, не вовремя опустивший ноги, дослал ее туда, где уже находились дневальный Колыма и премьер Франции.

Обычный утренний озноб; плывущая под кожей тоска, что не дает проснуться по-настоящему и принять день на грудь. Засыпая, Рылевский обещал себе начать утро с мо-

³ Шнырь – дневальный, то есть зэк, отвечающий за состояние секции.

⁴ Секция – часть барака.

литвы, а начал вот – с мата; одевался он долго, сучьи валенки не высохли за ночь. Натягивая их, Игорь Львович начал медленно читать «Отче наш», но лишь об оставлении долгов успел – погнали на проверку. И про искушение и про лукавого дочитывал он на ходу. Искушение здесь одно: дать волю своему гневу; вот по этому столу, липкому, тошнотному, снизу ногой вмазать, чтоб миски веером разлетелись; а потом первому же, кто встрянет, об этот стол морду разбить, да и второму, и всем, кто рядом чавкает. В очередь, сукины дети, в очередь.

...С утра вы особенно благочестивы, Игорь Львович, особенно с утра. Взять пайку хлеба насущного да и дергать отсюда в барак. И сахару прихватить – тоже насущно, авось там Пехов горячего уже заварил. Поздравляю вас, Игорь Львович, помолившись. Конгратьюлейшн.

Писем, писем уже месяц как не отдают, суки, и чем их достать – непостижимо.

– Игорь Львович, чаю, – приветствовал его, учтиво приподнявшись со шконки, Анатолий Иванович Пехов, сухой, похожий на молодого волка брянский домушник.

– Благодарю, а успеем? – засомневался Рылевский.

Они сидели рядом, гоняя из рук в руки горячую кружку; после каждого глотка Рылевский поджимал губы и заводил глаза к потолку. Станным образом были они похожи – смуглые, тощие, с одинаковыми морщинами у рта и глаз, напряженные, готовые к прыжку звери, – похожи и не похо-

жи одновременно: приземистый, ширококостный политик и стройный, легкий, как мальчик, вор.

– А если и сегодня не отдаст, – спокойно говорил Пехов, продолжая давний разговор, – придется за долги поучить ма-ленько.

Печь уже растопили, и секция постепенно нагревалась.

– Да, за долги, – расслабленно кивал Игорь Львович. В тепле клонило в сон, и бодрости от чая не было никакой – тошнота только да звон в голове. – За долги – придется, – повторил Рылевский, не вникая.

– Развод! – закричали в коридоре.

3

Больше всего на свете кислородчик Прохор Давидович Фейгель не любил вставать рано. Впрочем, поздно вставать он тоже не любил; вообще его способность к длительному и глубокому сну удивляла многих.

Проснувшись, Прохор Давидович обыкновенно закури-вал и долго лежал, замирая от страха и слабости, когда нет никаких сил встать, а пробудившаяся прежде тела память уже сообщает, что все пропало – проспано окончательно и бесповоротно, но не уточняет что.

Сегодня, однако, волноваться не приходилось: будильник показывал безобидное 8:10, а за окном еще стояла неглубо-кая темнота, и ясно было, что вот-вот она начнет синеть и

рассеиваться. Прохор потушил папиросу об угол кровати и уже собирался отплыть обратно в сон, как вдруг в коридоре занял телефон – мерзко, тревожно, неотменимо.

Пришлось встать – попусту в такое время ему не звонили. Кислородная служба многому научила Фейгеля: например, проснувшись от звонка этак на треть, он умел отвечать самым что ни на есть бодрым и ясным голосом.

– Але, здравствуйте, – сказал он.

«Р» у Прохора был роскошный – раскатистый, картавый, твердый и мягкий одновременно.

– Здравствуйте, здравствуйте, – передразнила трубка.

Фейгель спал стоя, прислонившись к стене; ноги переминаясь отдельно от него, где-то там, вдалеке, на холодном полу коридора. Трубка, однако, его перехитрила.

– А теперь – проснись на минуту, запиши и спи дальше, встанешь – прочтешь.

Фейгель послушно сыскал ручку с клочком бумаги, записал, что просили, и действительно проснулся.

А записал он вот что: сегодня в 10:30 в УКГБ к такому-то следователю вызывают свидетельницу Полежаеву, и адрес.

– Ты отзвонись сразу, как выйдешь. С Богом, – серьезно напутствовал свидетельницу Фейгель.

– Да я так, на всякий случай, думаю – ерунда, – сказала она и дала отбой.

Прохор прошлепал к кровати – досыпать, как и было велено. Совесть не возражала – напротив, сон его стал теперь

дежурством у телефона.

Коридорный сквозняк поднял бумажку со стула, повертел ее по полу и швырнул в угол, на кучу грязных ботинок.

4

Валентин Николаевич Первушин, лейтенант КГБ, поднялся тоже с большим трудом. И хотя время его подъема – 9:00 – большинству соотечественников показалось бы санаторным, Валентин Николаевич всей душой ненавидел даже само расположение стрелок на циферблате – будто регулировщик отмахивал – налево, налево – наезжавшему на горло дню.

Беда Первушина была в том, что он никак не мог расстаться со своей первой профессией; выродившись теперь в хобби, она сильно портила ему жизнь.

Валентин Николаевич обожал переводить – медленно, в свое удовольствие, забросав словарями стол под низкой уютной лампой, – выцеживать смысл из чужого, старинного и вливать его в новую форму; русский язык был для этого дела весьма гож. Иногда, переводя, он почти видел, как это устроено: вот языки – два дерева, стоящих рядом; спускаемся вниз по одному стволу и дальше, под землю, туда, где переплелись корни, находим там нужный путь и начинаем подниматься – по корням другого, по стволу его – вверх, и вот, схватилось: сидим на нужной ветке, ровно напротив той, с которой на-

чали спуск.

Валентин Николаевич не любил высоких мыслей и старался их не иметь, и тем слаще казался ему этот шаткий древесный образ.

А еще Первушин не любил вспоминать историю своего перемещения с филфака в органы; будничная была история, обычная. В комитете взят он был сперва в отдел по работе с иностранцами, а потом где-то на звено повыше что-то сломалось, и группу их распихали, куда Бог послал. Или не Бог. Его вот месяца три назад отрядили бороться с инакомыслием; экспертиза рукописей была теперь его специальность.

Несомненное понижение совсем не опечалило Первушина: у него оставались низкая лампа, переводы, покой вечерних трудов. И вообще – меньше ответственности, суеты: голова свежее.

Борьба же с инакомыслием казалась Первушину идиотизмом, кормушкой для самых тупых, ни к чему не способных коллег. Вот ведь что происходит: одни, вместо того чтобы найти нужную книжку, – а найти можно, право, в Москве – то уж точно, – и почитать вечерком, под лампой, – борются за какую-то там свободу слова, другие – ловят первых, сажают их, а стало быть, делают из них героев, почти святых; и когда третьи начинают защищать первых, эти неизменные вторые сажают и их, и так далее, до бесконечности, – система работает на саморасширение, штат управления растет – кормушка.

Три месяца объясняли ему специфику предстоящей работы, а совсем недавно ввели в состав следственной группы по делу N.

– Следователь Первушин, эксперт, – представил его кто-то кому-то вчера, и он с трудом удержался от смеха.

А теперь он брился, глядя в зеркало на заспанного эксперта Первушина. Сегодня ему велено сидеть вторым на допросах; тонкий психолог какой-то так порешил. Под эту психологию можно целый день прокемарить, не напрягаясь, мозги к вечеру приберечь.

И так сладка была эта мысль следователю Первушину, что обычная его утренняя апатия сползла с него быстро и без усилий.

Ровно в половине десятого Валентин Николаевич отправился на службу.

День

1

Погода была мерзкая; на плечи плюхался мокрый снег; он же, перемешанный с грязью, веером вылетал из-под колес.

И только приоткроешь дверцу –

День – мимо, день – сплошной транзит, –

сочинял Валентин Николаевич, продвигаясь по своему обычному утреннему пути. В такое время пешком выходило быстрее, чем на троллейбусе по забитому кольцу.

Строчки ворочались лениво: так, от нечего делать.

На повороте с кольца в переулок встречная машина обильно окатила первушинские штаны и ботинки, и Валентин Николаевич быстро додумал четверостишие:

...Природа так созвучна сердцу –
От них обоих нас мерзит, –

и остановился, соображая, стоит ли записать.

Райотдел КГБ помещался в приятном, желтеньком с белыми колоннами двухэтажном особняке в одном из тихих посольских переулков.

Валентин Николаевич долго топтался у вешалки, отряхивая плащ; насквозь промокшие ботинки сменить было не на что.

– Что вы там возитесь, проходите скорее, – не слишком любезно обратился к нему капитан Бондаренко.

Кроме грузного рыжеусого Бондаренки в кабинете сидел еще какой-то плосколицый в штатском, со шрамами на нижней губе и подбородке.

Бондаренко представил их друг другу; плосколицый ока-

зался майором и начальником оперативной группы⁵ по делу N.

Майор внимательно осмотрел Первушина и обратился к Бондаренке:

– Поздравляю, Сергей Федорыч, – тон и манера говорить были под стать его роже, – поздравляю, это то, что надо – в очко, – и тут же он перекинулся на Первушина: – Вам, молодой человек, все детали Сергей Федорыч прояснит, а я так, в общем, наскоро. Посидите сегодня у него на допросах, вид у вас очень уж интеллигентный, вот вы и будете представлять лицо современного комитета, ясно? Книжку на колени положите, читаете будто исподтишка, очков не носите? нет? жалко, ну ладно, сойдет и так. А это вам.

И неприятный майор кинул на стол стажерское удостоверение на имя В. И. Николаева, означенный Николаев учился на 5-м курсе юрфака.

– Сегодня у вас, Валентин Николаевич, дебют, – продолжал он. – Посмотрел бы я на вас с удовольствием, да некогда. Всё, приступайте. А, вот, чуть не забыл, это вам, реквизит.

И майор Рваная Губа вручил Первушину оксфордский роскошно изданный том Шекспира.

– Ту би ор нот ту би, Валентин Николаевич, – вот в чем

⁵ Оперативная группа занимается слежкой, прослушиванием разговоров, внедрением стукачей и т. д., вследствие чего имеет гораздо более точную и полную информацию о деле, а начальник оперативной группы является главной фигурой дела. Следственная группа, представителями которой в данном случае являются Бондаренко и Первушин, проводит допросы и оформляет следствие.

вопрос. Ладно, гуд лак, – заключил майор и пошел к дверям.

Бондаренко потащился за ним – провожать.

Произношение у плоскорозега было превосходное, и Валентину Николаевичу стало не по себе: не просто хамство, а еще и жутью какой-то припахивает, не поймешь что.

Вскоре вернулся Бондаренко, закурил, спросил спокойно:
– Ну как тебе майор?

Первушин промолчал.

– Зае. л он меня, – неожиданно задушевно молвил Сергей Федорыч, и вдруг его понесло: – Комедию придумал, сука, а нам – ломать, ты послушай, слушай мой инструктаж, лейтенант, сейчас эта дура придет, Полежаева; показаний на нее – до хрена, хочешь – сегодня сажай, хочешь – так оставь, все пустое, ничего нового она не сделает, ни больше, ни меньше. Как вертится, так вертеться и станет, пока ее е. ря в зоне держат. – Бондаренко разошелся, размахивал руками и почти кричал: – Так нет же, надо, видишь, опять ее допрашивать. Зачем? О чем? Я, значит, допрашивать ее буду и грозить, а она, заметим, при этом или молчать станет, или с дерьмом меня мешать, а я буду представлять, понимаешь, рыло режима, – и тут ты, в уголке, с Шекспиром, зайчик такой испуганный. Что ты на самом деле представляешь, майор мне не докладывал. Ты на нее этак поглядываешь, с интересом, рассмеяться нечаянно можешь, если она удачно меня отбреет. Да, еще чай будешь предлагать, сигареты и пальто снять-надеть поможешь. И чтоб все естественно выглядело – так

майор говорил. Ты все понял? – Сергей Федорыч задохнулся от возмущения. – И сдается мне – большие виды имеет на тебя майор, какие только – сказать не могу.

Первушин не переспрашивал; они посидели молча, Бондаренко курил раздраженно, Валентин Николаевич поглаживал глянцевого оксфордского супер – В. Шекспир улыбался сдержанно, с достоинством, но чуть простовато.

В дверь позвонили с улицы.

– Так, – сказал Сергей Федорыч, поднимаясь, – я – в кабинете, ты – открываешь, встречаешь, раздеваешь. Чай, сигареты – вот. Вопросов нет? Тогда вперед, Валентин Николаевич, – ваш выход.

2

Капитан Васин решил сразу врубиться в дело и отвлечься таким образом от тоски и личного горя, но быстро притомился и сник. В памяти вспыхивали и исчезали лица, разговоры, расклады, но как они связаны были между собою – бог весть.

Вот он дома, не добежал, а Надька над ним, кричит: «Черт запойный!» – визжит, тащит его в коридор, чтоб он, значит, ковра не портил; а вот Волк все толкует: надо собачника бить, потому что Надька – сука. Потом Ключиков, майор, толстый, краснощекий, сам выпить не упустит, – тоже что-то объясняет, приказывает – политика надо в оборот брать –

политика на зону привезли, было дело, и что-то в связи с этим ему, Васину, поручили – что? зачем? И еще – разное.

И все это было совершенно невозможно соединить, связать; трясло, голова наливалась знакомой похмельной болью.

Но принять сейчас значило не похмелиться, а продолжить; положив голову на кипу бумаг, Виктор Иванович постарался представить себе обещанное Волчихой пиво, расслабился и вскорости закемарил.

Ему приснилась дорога под зоной, и по этой дороге собачник ведет к нему Надьку, и он, Васин, слышит, как чавкает грязь у них под ногами; собачник приближается, проваливаясь по колено, лицо у него растерянное и странное, и, подойдя, он кричит Васину – возьми, мол, – и тут Васин видит, что не Надьку ведет ему инструктор, а тащит на поводке собаку; собака упирается, волочится по грязи лапами и задом, а голова у нее Надькина, завитая, и лицо – Надькино, вытянутое только и сплющенное с боков, как собачья морда,

И, чуть не вплотную подойдя, кричит ему собачник – бери, мол, – и спускает ее с поводка, а сам бежит прочь и все кричит: бери, бери! – и Васин бежит от нее в ужасе, собака – за ним, треплет и рвет уже ворот, а собачник издали все орет: тебе же, тебе, бери.

– Тебе принес, бери, да проснись же, хрен запойный, – приговаривал лейтенант Волков, жестоко расталкивая Виктора Ивановича.

Второе пробуждение капитана оказалось немногим при-

ятнее первого. Волков подсел к нему вплотную и начал излагать быстро и напористо; его рассказом как раз таки и связывались обрывки памяти; выходило гадко.

Политика привезли под запой; местная ГБ в этом не рубит, а боится только Перми; указания – пустые: особый контроль и работа воспитательная, хрен тебе в рот.

Ну, толковище Ключ собирал, хотел политика повесить на РОРа, но Васин тогда просто не понял. Повесили на замполита Чернухина, засранца, а он умен оказался – вторую неделю в местной больничке лежит, закосил на сердце – не сифилис, не проверишь.

А сегодня Ключ уже узнал, что Васин просох вроде, и все дела по новой ему передает.

Виктор Иванович не спросил даже, отчего это Ключ так быстро сориентировался; подсказать начальству вовремя мог, ясное дело, только сам Волк.

Чтобы поскорее проехать этот скользкий момент, лейтенант шлепнул на стол здоровый сверток и сказал небрежно:

– Письма его тут все, за месяц.

– А что, у цензорши тоже сифилис? – вяло спросил Васин. Теперь ему придется перепроверять цензоршу на эти гребанные условности в тексте, пытаться хотя бы отчасти понять, что за человек, то есть чего ждать: побега, голодовки или чего другого. А стукачами политика, наверно, обложили и без него.

Самое неприятное Волк приберег напоследок:

– А еще, слышь, блатные вокруг него; ксиву⁶ он на волю выкинул, что писем не отдаем. А родственники у него не хворые – жалоб понаписали, Пермь протряхнули, и сегодня, говорят, оттуда проверка будет. Так Ключ велел тебе письма просмотреть и до обеда еще политику отдать. А то потом не отмоешься.

Волк говорил торопливо и застенчиво.

– Пойду я, а то не успеешь. Всё, пойду.

Дело получалось неприятное, гнилое – только на запойного РОРа такое и вешать. Виктор Иванович, однако, даже обрадовался – тут уж не до бабы. И терять ему было нечего.

Личного дела Рылевского под рукой не оказалось, и Васин не стал тратить времени на поиски.

Для начала он рассортировал письма – от родственников, от друзей, – и при этом образовались две пухлые пачки от двух баб: московской и питерской. У московской почерк был разборчивей, и, пристрелявшись, Виктор Иванович с ходу одолел четыре забитых строка к строке клетчатых листа.

Чтение было интересное. Капитан наскоро переписал к себе в блокнот несколько строчек, похожих на условности: чья-то болезнь, отъезд, название книги; но не в этом было дело. Очень много интересного об осужденном Рылевском узнал он из письма А. Ю. Полежаевой.

Виктор Иванович закурил и вытащил наугад письмо из ленинградской пачки.

⁶ Ксива – письмо, записка, сообщение.

У этой почерк был позаковыристей, последняя буква каждого слова западала, как бы приседая; но письмо было недлинным, Васин справился с ним быстрее, чем с первым, и без особых раздумий выписал то, что тянуло на условности здесь.

Выходило вот что: Рылевский сел весной, неженатым, имея ребенка от питерской, а от московской – обещание расписаться с ним немедленно, как только он сядет. Теперь же питерская вспоминала их осенний брак перед этапом, в тюрьме, а московская печалилась, что ее обещание осталось невостребованным, и, несмотря ни на что, обещала осужденному любовь и верность; до конца срока или до гроба – Васин не понял.

Ну прям роман. В московском письме были еще и стихи, такие вот, например:

Заиндевелая рука
Обласкана щекой,
И я качну издалека
Твоей степи покой, –

и еще, и еще, и все про любовь, и эта дребедень скорее тронула, чем раздражила одинокого капитана.

Письма, конечно, попались удачные, и многое прояснилось, но и путаницы прибавилось. Зачем, например, заводить вторую бабу, если знаешь, что вот-вот сядешь. Для свиданок вроде бы и одной достаточно. Соревнование, что ли,

им устраивать – кто больше чаю пришлет?

Васин попытался представить себе их обеих и вдруг понял, что и Рылевского-то толком вспомнить не может, хоть и видел его когда-то давно, принимал с этапа. Что-то ведь и тогда уже его, Васина, – насторожило? удивило? что?..

Нарвавшись на очередной запад памяти, капитан подал назад. До обеда оставалось часа два, и Виктор Иванович положил остальных писем не читать, а отписаться как-нибудь поскорей да покороче, отдать Ключу отчет и сразу же вызвать на беседу Рылевского; а проверку эту гребёную, прокурорскую, поди, еще часа три отогреть да кормить будут, как приедет.

Он вздохнул и уселся сочинять.

Вид из рорского кабинета был так себе, на предзонник; но от яркого морозного дня, от блестящего за окном снега, от щелчков круглой угловой печки комната казалась уютной и славной.

3

В полдень Фейгель проснулся от звонка, как и было задумано, но не сообразил, что за звонок, и рванул к телефону. Звонили же в дверь. Отпер он спросонья, сдуру, не спросив кто, и пожалел об этом незамедлительно.

Небольшой безвозрастный человечек вручил ему под расписку сразу две повестки: на сегодня в ГБ на пять вечера и

на завтра в военкомат на десять утра.

Проход Давидович так охренел, что не спросил даже, работает ли этот дядя по совместительству в комитете и военкомате или они держат его на паях, специально для таких случаев, – и прилежно расписался, где просили.

Получив подписи, мужичок удалился с видимым облегчением, оставив Проходора один на один с таким вот ошеломляющим фактом.

«Так оно и бывает, – соображал Проходор, бессмысленно тусуясь по квартире; он закурил, налил воды в чайник и зажег газ. – Так всегда и бывает – думаешь, что ты еще сбоку, в сторонке, и вот жизнь подступает и говорит: нет, голубчик, не сбоку, а в яблочке».

Уговаривал Фейгель себя неудачно. От этих уговоров встала перед ним ясная картинка: большая на белом листе мишень – черные круги и яркое крупное яблочко; потом, от стрелка как бы, – совмещение мушки с мишенью и, от себя, – направленный точно в лоб маленький темный кружок дула.

Страх разошелся, поднялся, сбросил образы и вцепился в Проходора попросту, отшибая мозги.

Вообще-то, Проходор Давидович имел все основания печалиться и ужасаться: во-первых, он косил в свое время от Советской армии через психушку; теперь же этот широко применяемый в отечестве финт превращался в тиски – армия или принудление, без вариантов. Во-вторых, его семейная ситуация была в этом смысле нелегкой: брату оставалось

полгода до призыва, и еще много всякого. Хоть откуда заезжай – не промахнешься.

Надо было с кем-то срочно поговорить, посоветоваться; Фейгель стал накручивать полежаевский номер и тут только вспомнил, что она на допросе и звонка от нее не было, а дело к часу: значит, свинтили. Он побежал в коридор за повесткой, которая, ясное дело, уже расточилась среди бумажек, набросанных под телефоном, – военкоматская лежала, гэбэшной не было. Чуть не плача, стал ее искать и нашел-таки минут через несколько в кармане рубашки.

Повестка была оформлена аккуратнейшим образом: Фейгеля вызывали свидетелем по делу N к следователю Бондаренко, на сегодня к 17:00. Еще с четверть часа метался Прохор Давидович, стараясь разыскать листок с утренней Сашкиной диктовкой – «Проснешься, перечтешь», – стоял этот листик перед глазами, клетчатый, с неровным краем, и не находился, хоть сдохни. Тут кончилось курево, Фейгель стал одеваться, чтоб добежать до ларька, и в левом своем ботинке нужную бумажку обнаружил, и еще полпачки папирос нашел в кармане куртки.

Номера дел совпадали, и это означало, что часа примерно через четыре ему придется заложить Сашку, – или психушка тире армия.

Фейгель сел на кровать, привалился спиной к стене и отплыл на новой волне страха. Он представил себе все разом: брата забрали в армию, и там, откуда не докричишься, выби-

вают показания – на всю компанию; или – до смерти напугали отца, до смерти – буквально: напугали, и тот умер; а вот и самого его бьют – то санитар в психушке, то сержант в части.

Прохор Давидович от юности своей – со шпаной рос и сам таким был – не забыл еще, как нездорово и страшно быть битым; всякого битья и насилия он вообще боялся каким-то отдельным, утробным страхом.

По-хорошему надо было встать и убраться, но искать что-либо в захламленной квартире Прохору Давидовичу было слабо. Он подхватил лежавшую на поверхности «Хронику»⁷, выгреб из карманов записные книжки и отправился на кухню – жечь. Холодный чайник стоял подле зажженной горелки; Фейгель бросил часть «Хроники» в огонь и стал выдирать опасные страницы из записнущки. «Хроника» сделана была на папиросной бумаге и взялась хорошо – заполоыхало до потолка, задымилась над плитой бельевая веревка, в форточку и под потолок полетели нежнейшие черные бабочки.

За этим интересным занятием и застал Прохора Давидовича спокойно вошедший в незапертую за нарочным дверь Борис Аркадьевич Усенко, верный друг в несчастье.

⁷ «Хроника» («Хроника текущих событий») – самиздатский бюллетень, содержащий информацию об арестах, обысках и прочих нарушениях так называемых прав человека.

Они присмотрели эту хибару еще в ноябре, сразу по прибытии Рылевского. Дощатое строение размером в два-три дачных сортира быстро превратилось в жилье или, вернее, в нору для отсидки в рабочей зоне. Трудясь день за днем, они законопатили щели обтирочной ветошью, оклеили стены в три газетных слоя, поставили печь.

Анатолий Иванович был доволен: во-первых, Рылевский работал когда-то геологом, и печка получилась путёвая, с хорошей тягой, гудящая от самой малой охапки дров, а во-вторых, дружба с политиком радовала его сама по себе.

– Пофартило мне, Игорь Львович, что вас сюда привезли, – медленно, в сотый раз проговаривал Пехов, разбираясь с печкой. – Тут ведь блатных нет, пять лет – потолок, кто не дэтэпэшник, тот бабу свою огулял ножом вместо хера, перепутал. Спросят, с кем сидел, и ответить-то было б стыдно, если б не вы.

Блатной всегда обращался к нему уважительно – на «вы» и по имени-отчеству.

Рылевский лежал на топчане с закрытыми глазами. Обычно топка была на нем, но сегодня с утра накатила мигрень, остро болело под веками, стягивало голову, долбило в виски.

В бендежке было полутемно, маленькое высоко врезанное окно давало немного света, но и этого было довольно, чтоб

разглядеть грязь и развал внутри. Есть такие места: как ни скреби, ни мой – все будет цепляться глаз за сальные куски обтирки в стенах, за обрывки газетных обоев, за клочья ваты, что лезут из старого брошенного на топчан фофана⁸. Грязь имманентно присуща этой бендежке, да-с. Рылевский укутался, как мог, и отвернулся к стене.

– А политик, он против красных, значит, против ментов, значит, отрицаलोво⁹, не ниже парняги¹⁰ будет, – гудел Анатолий Иванович, шуруя в печи; бока ее раскалились и сочно налились малиновым светом, ярким в полутьме бендежки.

Боль под веками усиливалась от каждого движения и звука, знобило все сильнее; даже сожрав весь воздух внутри, эта сучья печь не справлялась: мороз пер под тридцать. Игорь Львович маялся в душном полутепле, крутился на топчане, стараясь согреться.

«Вторую сварить надо было да туда вот воткнуть», – думал он, пропадая от боли.

Тем временем Пехов вытопил печь, закончил свой обычный рассказ о том, как радостно встретят его на воле, буде узнают, что сидел он с настоящим, против красных, политиком, и предложил перейти к делам насущным.

За условной перегородкой стоял саморубленный стол;

⁸ Фофан – ватная телогрейка.

⁹ Отрицалово – зэк, отказывающийся подчиняться администрации тюрьмы или колонии.

¹⁰ Парняга – зэк, придерживающийся правил поведения блатных.

несмотря на непереносимую почти боль, Игорь Львович перебрался туда и разложил нужные для перевода словари и тетради; во время его занятий блатной свято соблюдал тишину.

– «Здесь все вина янтарны», – перечел Рылевский и стал разбираться со следующей фразой: «Серая накипь дня... Серая тень, как накипь...»

Пехов подошел неслышно сзади и взял со стола стотысячник Мюллера. Некоторое время он стоял в раздумье, взвешивая на ладони словарь, потом извинился, положил его на место и вернулся к печке.

Рылевский рассеянно наблюдал за ним.

Из кучи дров Анатолий Иванович вытащил полено покрепче, взвесил его, как Мюллера, несколько раз на руке и начал укручивать в невероятного цвета бывшее вафельное полотенце.

...Серая тень лежит у стены, как накипь; тени на снегу бывают голубые, глубокие; хотя какие ж там к хренам у Джойса снега. А накипь действительно серая, крутится она в котле с отвратительным серым же мясом; от джойсовской накипи поднималась тошнота, мигрень расходилась вовсю. Рылевский бросил голову на руки и прикрыл глаза.

В дверь постучали.

– Давно пора, – отозвался Пехов и достал из-за печки пару тапок с отодранными подошвами.

В ослепительно-белом дверном проеме возникла нелепая

темная фигура.

Пехов кивнул гостю на низкий самодельный табурет подле печи, а сам сел напротив, придвинувшись почти вплотную.

– Принес? – спокойно спросил он, оглаживая полотенце на полене.

Зэк скорчился на табуретке, уткнув подбородок в колени.

– Ну, принес?

– Да не было там, – едва слышно ответил пришелец, – в правом – сотня, в левом – не было...

– Ксиву я сам видел, – тихо и строго заговорил блатной, помахивая изуродованными тапками перед самым носом ответчика. – Значит, или он врет, – Анатолий Иванович указал поленом на Рылевского, – или кореш его врет, или ты, падло, врешь...

– Не было там, – безнадежно повторил должник.

Анатолий Иванович размахнулся и ударил его поленом по голове.

– А-а-а, – завыл тот, – не было там, хлебом клянусь, не было...

– Руки с головы прочь, – еще строже произнес Пехов, – так отдашь? – и ударил еще раз, посильней.

Зэк выл и корчился на полу, защищая голову руками, плечьями, коленями.

– Орать – брось, – приказал блатной, – видишь, человек занимается, – и, занося полено в третий раз, вежливо поинтересовался: – Мы не очень вам мешаем, Игорь Львович?

Рылевский полулежал, уткнувшись носом в словарь, голова болела нестерпимо, дело шло к рвоте; он не мог, не имел никакого права вмешаться.

...Здесь все вина янтарны.

Зэк на полу уже не орал, а жалобно скулил, забыв материться. В полутьме бендежки кровь на его лице казалась черной.

– Подумай до завтра, земляк, чего там – не было, – все так же спокойно сказал Пехов, помогая битому подняться.

Дверь открылась и вновь ослепила ярко-синим небесным и белым снежным сияньем.

– Завтра в зубах принесет, вот увидите, – умиротворенно сказал блатной; он распеленал полено и сунул полотенце в печь.

Рылевского потянуло на воздух.

Путь зэка легко прослеживался по ярким кровавым плевкам. Накипь времени лежала у стен – легкая, прозрачная, голубая, с редкими алыми пятнами, а само время подходило уже к обеду.

...Здесь все вина...

Сиеста

1

Четвертинская столовая славилась на всю округу не потому, что задумана была как ментовская кормушка, а просто там работали бабы, которым нравилось кормить: варить, печь, жарить и подавать.

Виктор Иванович прибыл в столовую в начале третьего, когда народ уже схлынул. При виде тощего брошенного капитана женщины забегали и захлопотали так, будто Васин был не Васин, а президент республики Бангладеш. Виктор Иванович был окучен и согрет немедленно: пока он поедал рыжие наваристые щи, бабоньки налепили и сварили лично ему превосходных пельменей, а на третье поднесли компота с пирожками.

Во время запоя Васин ходил полуголодным – отчасти из-за Надькиного небрежения, отчасти же потому, что еда с питьем вместе в нем не держались, – и теперь нечаянно объелся, обмяк от обильного и вкусного обеда и задремал.

Третье пробуждение капитана вышло поприятнее прежних.

– Нанялся я, что ль, тебя сегодня будить, мать, – незлобно ворчал Волк. Бабы наблюдали за побудкой и предлагали

Виктору Ивановичу умыться в служебке.

Он быстро очухался и спросил, нет ли еще надзорного.

– И не будет, – спокойно сообщил Волк, выводя капитана из столовой. – В обед уж тридцать семь было, к вечеру, значит, до пятидесяти дойдет: в такой мороз прокуроры дома пьют.

Солнышко подъезжало уже к еловым верхушкам: свет его густел, желтел и здорово мазал снег; до заката оставалось часа полтора. Отблескивали золотом окна домишек, обледенелая дорога и даже капитанские сапоги. Под ногами хрустело смачно и так громко, что разговаривать было трудно.

– А еще, слышь, – сказал Волк и остановился, чтоб не перекрикивать хруст, – еще свиданка была сегодня у этого, как его, из третьего отряда.

– Ну и хрен с ним, а нам-то что? – спросил Васин; стоять на месте было холодно.

– А нам – травки на халяву: баба – дура, чучмеки какие-то, так и несла, в открытую. У тебя курнуть-то можно?

В рорском кабинете было по-прежнему уютно, пахло вытопленной печкой, хорошо держалось тепло.

– Враз вытянет, как тогда, – шестерил Волк; видно было, что ему не терпится. Не то чтоб они подкуривали постоянно, но в охотку – употребляли: в зоне было много чучмеков, и потому дурь катила за валюту не хуже водки.

Неторопливо беседуя, они вытянули по косячку, открыли форточку и растопили печь, чтоб выветрить запах дури.

– Идиот, сейчас пожарные приедут, – мрачно сказал Усенко и закрыл форточку. Прохору Давидовичу полегчало.

– Подожди, я сейчас, – сказал он, с благодарностью глядя на Усенко. – Вот уж правда – Бог тебя послал. – Прохор сунул другу свои замусоленные уже повестки и бросил на плиту новую порцию бумажек. – Прости, это срочно надо.

Под потолком вспыхнул сгусток древней паутины, легко прогорел и погас сам.

Усенко взглянул на повестки и принялся расхаживать по кухне взад и вперед, от окна к двери. Говорил он медленно, с перерывами, но гладко и убедительно, изо всех сил стараясь найти подходящий к моменту тон.

Все это было между ними много раз проговорено, и не от слов Фейгелю стало легче: в несчастье человеку всегда нужен другой, близкий: страх уходит.

Костер на плите утихал, распадался на черные с тлеющей каймой куски; Фейгель стал возражать: «... все верно – у каждого своя жизнь, чужую не проживешь» и так далее. Но их с Усенком дело – поэзия – таково, что требует непременно согласия с собой, иначе – облом. Прохор Давидович процитировал Манделыштама о чувстве собственной правоты у поэта.

Усенко толком догоравшую бумагу черенком столового но-

жика.

– ...И вот, если поэзия действительно их дело, – развозил Фейгель, – не надо, значит, от жизни бежать, как предлагает Усенко – прятаться, пережидать, уезжать, – а пойти надо и послать их подальше, по совести, а там – что Бог даст. Лучше на нарах, по Мандельштаму, жить, чем на воле – по Михалкову. – Фейгель обожал формулировать.

– А вот Пушкин, Проша, на нарах не сидел, – мирно ответил Усенко. – Так ты что, точно решил, пойдешь?

Тощий, похожий на осеннюю городскую ворону Прохор выпрямился, задрал бороденку и сказал значительно:

– Да, придется.

Лицо у него было перепачкано сажей. Бабочки отпорхали свое и теперь смиренно лежали на плите, на подоконнике, на полу. Пережженная пополам веревка сбегала по стене двумя черными струйками. Правда торжествовала.

Усенко взглянул на часы и предложил, коли так, поиграть в допрос: развлечься и подготовиться; Фейгель с восторгом согласился. Борис Аркадьевич сел за стол, поставил перед собою пепельницу и развернул испачканную сажей повестку.

– Я – следователь Бондаренко, а ты – как есть – свидетель Фейгель. Начали: выйди и зайди.

Игра началась: Усенко изображал что-то среднее между Порфирием Петровичем и гестаповцем из советского фильма. То, привязываясь к каждому слову, он пытался уличить свидетеля Фейгеля во лжи, то кричал, страшно топал ногами

и грозил расстрелом. Фейгель в восторге подыгрывал: следователь шил ему связь с заключенным антисоветчиком Рылевским; свидетель обвинялся в том, что за последний месяц переправил в зону радиопередатчик, пулемет и небольшую сумму в иностранной валюте. Прохор объяснял следствию, что он не в состоянии отличить радиопередатчик от мясорубки, а в доказательство вытащил мясорубку из кухонного шкапа и размахивал ею перед носом следователя, который немедленно опознал в ней тот самый радиопередатчик.

– Вот видите – значит, я в зону мясорубку отправил, – радостно вопил Фейгель; он хохотал и бил себя ладонями по коленкам, не понимая, что спроста подтвердил сам факт связи с зоной.

Следователь посмотрел на часы, потом на свидетеля и неласково произнес:

– Ладно, на сегодня – всё. Идите и подумайте как следует, стоит ли вам быть пешкой в чужой игре...

Подумать как следует Прохору Давидовичу было уже некогда – времени до выхода почти не оставалось.

– Одевайся, провожу, – предложил Усенко, и сникший было Фейгель снова ожил.

Ехали они молча, а когда вышли из метро, Борис Аркадьевич сказал:

– Дальше иди один – так лучше соберешься. Удачи.

Фейгель крепко и с чувством пожал ему руку, и они разошлись: Прохор Давидович почесал вверх по уличке к кольцу,

а друг его двинулся к ближайшей телефонной будке.

3

Вернувшись в кабинет после обеда, Сергей Федорович застал молодого коллегу спящим. Первушин полулежал в глубоком кресле, штаны его были закатаны до колен, а голые ноги он ухитрился пристроить во впадинах горячей батареи; сверху на батарее сохли его носки, снизу, подошвой к зрителю, стояли ботинки; время от времени он откашливался, не просыпаясь.

Сергей Федорович с утра уже был раздражен и хотел было сорвать злобу – растолкать, наорать, обидеть, но так мирно спал этот парень и так нелепо он выглядел, что следовательно осторожно прошел мимо него и включил чайник.

За чаем Бондаренко успокоился окончательно и стал прохаживаться насчет Полежаевой. Первушин молчал и кашлял.

– Слушай, – говорил Бондаренко, жуя печенье, – а если б тебе ее по заданию трахнуть пришлось, ты как?

Валентин Николаевич отвернулся к окну и чихнул. Небо за окном было тяжелое, серое со свинцом, дождь опять сменился мокрой метелью. Монотонно жужжала лампа под потолком, голова у Первушина сделалась большой и мутной; начинался озноб, и он с удовольствием грел пальцы о стакан.

Бондаренко болтал. Об ушедшей Полежаевой и о грядущей

щем Фейгеле, просто о бабах и о том, что надлежит с ними делать; вообще – о жизни. Валентин Николаевич с трудом удерживал выражение вежливого внимания на лице, с тоской думая, что скоро совсем расклеится и, стало быть, вечер погиб. Эх.

– Ну, Фейгель этот – тридцать три несчастья да еще совестливый, – объяснял Сергей Федорович. – А уж вокруг него – как тараканы кишат поэты, наркоманы, хипы. Вербуй кого хочешь, не промахнешься. Чуть ли не сами бегут, подцепишь – не отвяжешься: аккуратные.

Валентин Николаевич не слушал про Фейгеля. Рыжеусый начальник был не опасен, болтлив, по-своему прост, но говорил все же меньше, чем знал. Вот про задание с Полежаевой – от себя брякнул или готовит почву? Наплывала опять смутная тревога от утренней беседы с плоскорожим – не разобрать было, от чего знобит.

Сергей Федорович вошел во вкус и смачно рассказывал о кислородной карьере Фейгеля, но закончить ему не удалось: зазвонил телефон.

– Слушаю, – весело сказал он в трубку и, резко изменив тон, продолжал внушительно и официально: – Да, хорошо. На днях мы с вами обязательно поговорим лично. Всего хорошего. – И пояснил для Первушина: – Вот, друг Фейгеля звонил – задание, мол, выполнил: дома до четырех пропас и к нам отправил. Сейчас прибудет. Так-то, Валентин Николаевич: забавная у нас служба.

После обеда Рылевский попытался заспать мигрень. Ветер улегся, и теперь в дощатой хибаре проще было удерживать тепло. Пехов упорно топил, часто выходил за дровами, и Рылевский замечал, как снаружи убывает свет и снег становится голубым, сиреневым, синим.

Боль уходила из-под век, разливалась по всей голове, теряя силу. Мучил плоский, расползающийся под затылком фофан, голова кружилась, но все ж никакого сравнения не было с острой, доводящей до исступления утренней болью.

Славно гудела печь; подле нее неторопливо чифирил Анатолий Иванович, похожий на большую темную птицу.

Грязь и развал ушли, впитались во тьму и не тревожили больше глаз. От бегающих по полу печных отблесков, от прибывающего тепла в бендежке стало уютно и почти спокойно.

Пехов часто подбрасывал и, наклоняясь, шуровал в печке, и лицо его, освещенное огнем, казалось тонким и вдохновенным.

Вечер

1–2

Яркий, замешанный на болезни и духоте сон не давал отдыха. Несколько знакомых, загнанных вместе с ним в какую-то тесную комнату, не слыша и не видя друг друга, поперебой обращались к нему – требовали чего-то, спрашивали, кричали. Александра Юрьевна тоже просила о чем-то важном, но подойти к ней было невозможно: пространство выламывалось и выгибалось непонятным образом, и вскоре из комнаты вынесло всех, кроме него самого.

Он бесцельно бродил от стены к стене, наслаждаясь покоем, потом, догадавшись, прилип к окну. Пейзаж за окном менялся, как в диаскопе: Каменный, Петроградская, залив. За спиной хлопнула дверь; Рылевский оторвался от окна и проснулся.

– А почему не на работе? – негромко спрашивал какой-то мент.

Игорь Львович лежал неподвижно, прислушиваясь.

– От работы кони дохнут, начальник, – отвечал Пехов; ко черга звонко ударилась о печь, грохнула табуретка. – Не видишь, что ли, болеет человек, спит.

– А ты? – еще тише спросил вошедший.

– А я, – в полный голос отработовал Анатолий Иванович, – а я тут топлю, чтоб он досрочно не откинулся. Мне за это сверхурочные положены, начальник.

– Ладно, суток десять сверхурочных я тебе сделаю, за доблестный труд, – заорал начальник, и Рылевский понял наконец, что это отрядный. Он всхрапнул и заворочался на топчане.

– А чего пришел-то, начальник? – не унимался Пехов, хотя ясно было, что цели своей он уже достиг: Рылевский разбужен и предупрежден.

– За ним и пришел – режим вызывает.

– Да его в санчасть бы надо, начальник.

– РОР подлечит, не беспокойся, и тебя заодно. А ну, встать! Ты как с отрядным разговариваешь?..

Больше тянуть было нельзя. Рылевский надел валенки и подошел к печке, изъявляя полную готовность следовать куда угодно.

Было уже совсем темно, и низкие звезды шевелились от мороза – прожектор глушил их только подле запретки.

Кабинет РОРа представлял собой длинную узкую комнату с поносного цвета стенами и большим, нелепо поставленным поперек столом, за которым и помещался сам режим: мент ментом и ничего боле.

– Вечер добрый, гражданин начальник, – сказал Игорь Львович хриплым спросонья и простуженным голосом; вышло по-блатному хамовато.

РОР поднял глаза и указал на стул, и Рылевский, не снимая фюфана, с трудом втиснулся меж стеною и коротким торцом стола.

Прямо над головою Игоря Львовича висела массивная деляшка с резным изображением Железного Феликса работы местных умельцев; другой его портрет, стандартный, политпросветовский, располагался за спиной РОРа, на дальней стенке.

– Курите, осужденный, – бесцветным голосом произнес мент, придвигая пепельницу; на столе перед ним лежали три стопки писем. Рылевский спросил спичек, прикурил и слегка подался вперед, возвращая коробок. Этого хватило, чтобы взглянуть на конверты. Однако радоваться было рано: не известно, что потребуют от него взамен. Игорь Львович развалился на стуле и спокойно курил, всем своим видом выказывая полное безразличие к письмам, начальнику и своей собственной участи.

В комнате стоял почти неуловимый, но навязчивый запах. Начальник не торопился с разговором; Рылевскому вспомнились почему-то восковые фигуры жандармов в Петропавловке. Если б решили когда-нибудь сделать музей «Обшак-79», то мента, офицера, стоило бы лепить вот с этого: задрипаный, испитой, мутноглазый, весь – ни о чем, типаж.

Васина вело; подкурка в первый послезапойный день оказалась тяжела. Он боролся как мог с наплывающей дурной; в ушах звенели колокольчики, во всем теле ощущалась

нехорошая легкость и пустота.

Сидевший напротив зэк казался каким-то уж слишком настоящим, массивным, тяжелым, несмотря на худобу длинного, обтянутого серой кожей лица. Желто-зеленые глаза его ни секунды не стояли на месте, бегали, обшаривали стены, стол, ощупывали мимоходом самого Васина, и он чувствовал себя тревожно и неуверенно. Осужденный же, по всей видимости, был вполне спокоен – он с удовольствием отдыхал и курил в тепле.

...В Петропавловке работал экскурсоводом один его приятель – сталинский зэк, любитель русской истории, городской чудак, тоже в своем роде типаж; о нем, Рылевском, этот человек говорил так: «Игорь истории не делает... он просто в них попадает...» А однажды нервная пожилая дама упала в обморок, увидев выходящего из музейной камеры экскурсовода: решила, что это дух Желябова. Значит ли это, что все зэки похожи?..

Мент молчал и вообще почти отсутствовал.

...Игорь Львович спустился уже к Неве и прикрыл глаза, чтоб лучше рассмотреть и темную воду у ног, и другой берег.

...Васин заглянул в дело, коротко кашлянул и начал.

Говорить ему было трудно, он то и дело запинаясь, с трудом подбирая слова. Речь его сводилась к тому, что судьба осужденного находится теперь в руках лагерного начальства вообще и в его, васинских, в частности.

Преступление совершено тяжелое, срок есть срок, но и

срок можно отбывать по-разному. У одних бывают свидания, передачи, поощрения, у других – ШИЗО. Вот Рылевский ра- ботать не хочет, общается только с блатными; а подумал ли он о жене, о матери – каково им будет узнать, что он лишен свидания?..

Но пока наказывать его никто не собирается, ему дают время подумать и письма ему отдают, чтоб он понял, как беспокоятся о нем родственники. Тут Васин изобразил понимающую улыбку. И не только родственники. А задержка с письмами произошла просто из-за болезни цензора. И пусть осужденный, человек умный, с высшим образованием, решит, как ему быть дальше: не пора ли встать на путь исправления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.